

# С волшебной палочкой

Памяти Николая Гумилева.



Николай Гумилев

рвало могучие сплавы зыбей, Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон?»

Готовилось грядущее процветание России, Серебряный век искусств вдруг совпал с промышленным подъемом. В «Биржевых ведомостях» рядом с бюллетенем курсов – стихи Гумилева: «Вот идут по аллее, так странно нежны, Гимназист стимназисткой, как Дафнис и Хлоя». Женится он на недавней гимназистке, красивой и загадочной девушке, а поселилось рядом божество поэзии. Кто из пишущих стихи не был бы смешон в качестве мужа Анны Ахматовой? Гумилев и умен, и благороден, он понял, что произошло. Конечно, развод не случаен. Духовная связь, однако, не прервалась. Ахматова всегда относилась к нему с сердечной теплотой, ценила стихи Гумилева, называла его Дельвигом своего века! Влияние некоторых гумилевских уроков и оценок, симпатий и антипатий сказало в ее жизни. Он был венчанным мужем Анны Андреевны, отцом ее ребенка, она никогда не простила женщинам, им воспетым. Тем более если стихи были столь прекрасными: «Лишь черный бархат, на котором Забыт сияющий алмаз, Сумею я сравнить со взором Ее почти поноющих глаз». Женщины его любили. Замечание одной современницы, что никогда ей не встречался человек, более некрасивый, кажется мне свидетельством пылкой влюбленности.

Несколько оглядевшись, он смирился, уже не равнял себя с Блоком, терпел его оскорбительные нападки, утверждая, что не может спорить с «живым Лермонтовым».

Неумоимо учился. Имена иностранных учителей названы им прихотливо, но точно: Шекспир, Рабле, Вюйн, Готье... Может быть, стоило бы добавить Леконта де Лиля, вспоминавшегося в тропиках. Велико влияние всей русской классики: и Пушкина, и Лермонтова (особенно – воинственного), и по-своему прочтенного Некрасова. Кое-чему гимназиста обучил директор родной гимназии Иннокентий Анненский. Наставником в свободном стихе стал Михаил Кузмин, и в учебе этой нет постыдного: пора уже заметить, что Кузмин – классик мировой поэзии. Рано Гумилев оценил бальмонтовское вдохновение и брю-

совскую стиховую мощь. Но знал он вдохновение столь же крылатое, а в стихе стал мощнее, изощреннее и прежде всего живее Брюсова. Какая сила в стихах о Самофракийской Победе: «В твоём безумно-светлом взгляде Смеется что-то, пламенея...» Стоит вспомнить, что речь идет о безголовой статуе.

Итак, у него были учителя, а учениками стали все бывшие в русской поэзии после него, все заслуживающие упоминания. Конечно, все акмеисты. И Мандельштам, его вечный собеседник, и Нарбут, и Зенкевич, и Георгий Иванов. И московские «неоклассики». Шенгели, нежно любимый мною. И Антокольский, сильно непопулярный, но реально был такой. И Северянин в какой-то мере, Бенедикт Лившиц, несомненно. И Вагинов, учившийся в гумилевской студии и ушедший в ОБЭРИУ. А там и Заболоцкий разных периодов. И, разумеется, Тихонов. И все конструктивисты: Багрицкий, Сельвинский, Луговской, Ушаков (преподаватели литинститута советовали учиться у этих романтиков, страшась назвать первоисточник).

Расхваливали найденное Гумилевым и внешне далекие от него авторы. Враждебный Маяковский просто «слизал» ритм «Старого бродяги» для поэмы «Владимир Ильич Ленин» («Я знал рабочего. Он был безграмотный...»). Что-то взял и Клюев, и Кильчов, и Есенин («Черный человек» невозможен без учебы у Гумилева). Влияние «Костра» и «Огненного столпа» ощутимо в пастернаковских «Стихах из романа». В «казакских» стихах подражал «Сентиментальному путешествию» Павел Васильев. А Борис Корнилов, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Смеляков! Не говоря уже о Суркове и Симонове... Да была ли бы в этих эпиграмах надобность в 1941 году, будь на свете автор строк: «Мы четыре дня наступаем, Мы не ели четыре дня»? Но, гордый, он не сумел бы выжить и примениться. Себя, к несчастью, не сберег.

Тарковский и Липкин, Адалис... Конечно, все «фронтовое» поколение. И Евтушенко. И Высоцкий. И Юрий Кузнецов. И Рейн с Бродским. И мое поколение, если бы оно сформировалось. И,

эти нонешние, кургузые... И в дни афганской войны присутствии давнего поэта ощущалось. Писал Моисей Цетлин: «Здесь над джунглями Киплинг витает. Входят танки в роскошную эру. Гумилева их тень осеняет».

Он угадал и предвосхитил пути развития стиха. В «Письмах о русской поэзии» предсказал и отдельные судьбы (например, Хлебникова, Мандельштама, Эренбурга). Сформулировал и принципы поэтического перевода. Гумилев – необходимое звено в цепи. Все ему обязаны.

Не сравниваю характеры и масштабы, но два русских поэта в этом веке повлияли на всех. Хлебников, выведший в космос, учивший словотворчеству, языку, учивший любви к неумолимому машинной цивилизацией Востоку, к свободе. Гумилев, давший дорогу новым формам, высказавший новые возможности. Учивший стиху и подвигу, любви к Востоку и свободе, Николай Гумилев видится мне в русской поэзии малом с волшебной палочкой. К кому он ею прикасался, того расколдовывал. Пробужденный, воскресший, расцветал, а волшебник ликовал. Сказано: «Так гений радостно трепещет, Своё величие познает, Когда пред ним гремит и блещет Иного гения полет».

Наконец он решился прикоснуться волшебной палочкой к последнему – к себе самому... Начал быстро превращаться в большого поэта. Тут его убили. «Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек». О чем эти стихи? О войне гражданской или еще об империалистической? О немецком рабочем или о русском? О скорой гибели или общей погубили? О том, о другом, о третьем и еще о многом.

Стодесятилетие Гумилева совпало с семидесятилетием его расстрела. Как его убивали, мы не узнаем. Впрочем, во времена Дзержинского было правило: следователь лично стрелял в подсудимого, если был убежден в его «контрреволюционности».

«Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять». Ахматова долго искала могилу Гумилева.

Когда-то по просьбе вдовы мне пришлось разбирать архив скончавшегося Михаила Зенкевича, последнего акмеиста, моего учителя. Лилые сумерки («застоя»)... Груды потаенных стихов, неизданный роман, рукописи Пастернака, приносившиеся на суд Зенкевича, стихи и переписка друзей. На самом дне широкого ящика – разворот «Известий Петросвета» со списком расстрелянных по «таганцевскому» делу. С годами шрифт стерся и казался слежавшейся шерстью... Некоторые фамилии (лично знакомых) Михаил Александрович отметил «птичками». Фамилия Гумилева была отмечена и подчеркнута красным.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Московские  
Новости, - 1996, -  
7-14 апр. - с. 36

Посмертная маска Пушкина – изрытый морщинами лик мыслителя и мученика, которому явно больше 37 лет. Поразительно лицо двенадцатилетнего Боратынского на первом известном портрете: пожилой, всезнающий взгляд будущего певца Смерти! На крыльце шахматовского дома (который еще сожгут) позирует фотографу веселое семейство Бекетовых с добродушными старорусскими («мильями татарскими»), по утверждению К. Леонтьева) лицами. И не догадываются, что «внедрен» к ним в дом огнеглазый дьяволенок, похожий на бредбериевского марсианина, – маленький Блок в гимназическом мундирчике... Мы привыкли к раннему взрослению, быстрому росту гениев. Николай Гумилев, крупный русский поэт нашего столетия, гением не был. Не виноват он в том, что его созревание было неспешным. Звали его в детстве «Монтигмо Ястребиный Коготь». Так, несмотря на большой и тяжкий жизненный опыт подлинных путешествий и сражений, он до конца и остался школьником, увлеченным «Илиадой детства» – приключениями Гека Финна и Тома Сойера. Начитавшись Майн Рида, Дюма, Жюль Верна, Густава Эмара, так и не повзрослел. Прочитав очередную лекцию о стихосложении, играл со своими студийцами в кошки-мышки. Ребачливость, вечное детство, одних раздражавшие, других пленявшие... Пророческий дар, но и авантюризм, и самоуверенное фантазерство, по наследству перешедшие к сыну Льву – теоретику возникновения этносов.

Запретный в советское время Гумилев был любим именно за подростковую необузданную жажду странствий, за тоску о жирафах и гиппопотамах, за грезы «пятнадцатилетних» и иных капитанов. Любимый поэт геологов, археологов и палеонтологов... Декламация его стихов шла вперемешку с гитарными распевами Визбора и Окуджавы у костра.

Но долгов был путь от «Жемчугов» к «Заблудившемуся трамваю», одному из великих стихотворений XX века. Как же юноша, такой легкомысленный, стал человеком столь значительным, мудрым, проницательным? Неистощим был талант, не прекращалось самоусовершенствование. Он поднимался вместе со своими стихами. Выросший в Тифлисе (откуда в 16 лет был выслан за обращение в марксистскую веру пригородных мельников), он, должно быть, помнил глубокие слова Руставели: «Стихотворство – род познания, возвышающего дух».

Духом был высок, искренен, привлекал к себе душевной чистотой и ясной верой: «... все в себе вмещает человек, Который любит мир и верит в Бога». Фамилия его, имеющая один корень со словом «умиленный», – от предков из мелкого белорусского духовенства. Не отсюда ли, однако, и неистово торжественный библейский пафос: «И ты помнишь, как, только одно из морей, Ты исполнило некогда Божий закон – разо-